

.....
————

Беглые в Новороссии

————
.....



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ



I

ЛЕВЕНЧУК И МИЛОРОДЕНКО

В конце апреля, по пути к азовскому поморью, из старых украинских губерний пробирались глухими тропинками, оврагами и одинокими степными лесками двое пешеходов. Оба они были молоды, измождены усталостью, в потертой одежде и с палками в руках. Ночевали они под стогами, пили редко из колодцев, а более из не высохших еще снеговых озерков, ели что бог даст и торопились-торопились. Младший из них, тип чистого малоросса, немного мешковатый и вялый, шел как будто нехотя, пугливо оглядывался по сторонам, вздрагивал при малейшем звуке в степи, ранее старшего сворачивал в сторону, едва завидев на пути одинокий постоялый двор, хутор или проезжую смиренную тележку. Зато старший шел смело и даже весело. На нем был зеленый жилет с ключом на веревочке, серая барашковая шапка и ветхие плисовые шаровары. Он бойко говорил по-русски, хотя был родом малоросс.

— Ты, брат Хоринька, смотри у меня, не дури, не кручись: я уж в пятый раз бегаю. А что? — сходит! ровно, миленький, ничего. В первый раз-таки, как поймали и привели, скажу тебе, вспороли напорядках. Исправник был выжига, пятью червонцами не откупился. А зато места-то, места какие! Батюшки мои светы! Ты в резонт то ись не возьмешь, что это за край, эта поморская сторона! Уж недаром же я веду тебя туда, братец! Там тоже поселки

есть, да не чета нашей треклятой «панщине»; сказано — волюшка: вот как птицы вольные, там и земля вольная! Разные тебе языки, сбоку сплошь донщина, а там наши города и море! Жизнь, жизнь, родимый! Денег заработаешь вдоволь, пачпортник тебе выхлопочут. Паны там не то, что у нас: всё ухари-молодцы и по-кавалерски тебя содержат. Значит, не то что у нас, по старым господским хуторам, в месячину тебе толоконце одно отпускают, значит, дерть¹ собачью, жито пополам с ячною мучицей по пуду на душу. А там тебе и сало, и масло постное греческое, прямо с порта, в богоспасенные дни. Ешь-кушай да трудись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены — и жинку тебе справят новую. Пять раз я бегал и пять раз все новых шамшурок доставал! Такое уже заведение было; коли ты лакомка — не нахвалишься, ей-богу!

Младший на эти слова тихо вздохнул, продолжая семенить босыми пятками, держа сапоги через плечо и изредка потирая тряпицей разболевшиеся от ветра глаза.

— Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харько! Эти твои оханья да вздохи — только одни пустяки. Ну, куда мы идем, а? Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла² и камыши? Ну? Глуп ты есть, человек, и только! Говорю тебе: приведу тебя в такие места, что ахнешь. Бос ты — обуют тебя, наг ты — оденут, гладен — накормят, пьяница — пить дадут, баб любишь — предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, Харитон!.. Кто ее не любит? Бежал я, братец ты мой, впервой сдуру, от блажи, понятия еще не имел, значит, о живодере Петилье, у которого после трижды в наймах бурлаком³ жил, — там такой шельма французик под Бердянском степи держал, — а и то, что со мною случилось! Вышел я, братец, наработамшись и намучимшись вдоволь, в дождь да в студеную непогоду пробирался, как и мы теперь, свиными дорожками,

¹ Измельченное зерно без специальной очистки, корм для животных.

² Рукав или проток в дельтах рек.

³ В данном случае наемный пришлый крестьянин.

по захоlustьям. Да как вышел я за Днепр, как повидел, что это уже не наша панская Украина, а вольная со светосоздания царица¹, значит, божья степь, где, куда ни глянешь, все поле да поле, ковыль расстилается да коршунье летает, — всполз я, избитый и усталый, на курган и поглядел этак вперед себя. Голова, брат, и закружилась, а глаза чуть не ослепли от свету, простора да сверканья всякого. И смотрел я, Хоринька, с кургана того от утра вплоть до вечера; упал и заплакал с радости. Так бы, кажись, и пошел на все четыре стороны разом... Волюшка, воля! Пстой, и ты не то заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку песню:

Эх ты, степь моя, степь бердянская!..
Жизнь постыла, неволя панская!

Веселый вожак, выйдя из глубокого оврага, по дну которого шел с товарищем, несмотря на усталость, звонко запел, потом вдруг засмеялся и замолчал.

— Харько! — сказал он, плетясь в гору.

— Что?

— Ты Левенчук по прозвищу?

— Левенчук.

— Ну, тебя же мы, как придем, окрестим иначе. Вот я Милороденко по прозвищу, там на хуторе, дома, значит, по ихней панской ревизии; а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский, и имени уж теперь ни в жисть не меняю; так меня все кавалеры там, значит, помещики, и знают, потому что пачпорта теперь уж мне не нужно, — и без него я знаю, как обойтись. А вот тебе пачпортник на первый раз нужен. Слушай, Харько...

— Что, Василь Иваныч? — грустно отозвался, вздыхая, новичок.

— Как придем мы на границу, до ногайских степей, береги ты меня, душа Хоринька. Покаюсь тебе. Непьющ

¹ Пахотная степь, временно оставленная для отдыха и пастьбы скота.

я сызмальства, а как доберусь до воли — себя не помню: пять раз в шинке у Лысой Ганны пропивался, как собачий сын, до нитки. Береги меня, Харько, как свою душу; не давай мне сразу простору; убажай меня, уговаривай, да поделикатней при людях, — потом, пожалуй, и свяжи, даже поколоти, обругай самую скверную бранью, а водки много не давай. Хоть просить буду, хоть бить тебя буду, не давай водки, не давай и денег.

Граница уж близко; вот тебе вся моя казна, — возьми и спрячь... Не силен я тут против соблазна... Ох, не силен! Сказано, воля!

Милороденко действительно остановился, присел на траву, снял сапог, достал оттуда в грязной ветошке какую-то сумку, вынул три замасленные ассигнации, посмотрел на них на свет с вниманием и как бы с сожалением, похлопал по ним и отдал их товарищу.

До желанных мест крайнего юга оставалось недалеко. Туда стремились новые товарищи, как стремятся и стремились искони, по неодолимому влечению, сотни и тысячи других, им подобных беглых русских людей, с перелетными от севера птицами, ища новой пищи и новой доли.

Два-три перехода — и они были наконец на рубеже того непчатого или мало еще початого края Новороссии, где Милороденко пророчил у господ кавалеров своему товарищу такое счастье и богатство, каких он и во сне не видывал.

Овраги и лесистые балки стали попадаться реже. Стоги, под которыми они ночевали и прятались на отдыхе от дождей и солнца, исчезали вовсе. Пошла сплошная, необозримая степь, заросшая густыми цветущими травами. Сел и хуторов не было видно вовсе. Кое-где только мелькали в стороне, чернея длинными шестами, со вздетыми на них пучками ковыля, одинокие овчарни. Да иной раз, пробираясь чуть видною в траве колеєю проселка, натыкались они на пустынный колодезь, до того глубокий, что не было видно его дна, как туда ни смотри. Встречные чумацкие обозы они обходили, а к одиноким пахарям в степи

приближались. Подойдут, особенно вечером, к огоньку, Милороденко поклонится, подсядет на корточки к маленькому костру, заговорит, посмеиваясь и смотря по своему обычаю в ладони, перебросит с руки на руку уголек, закурит трубочку, и сейчас начинаются у него расспросы и шутки.

— Что, от панов? Панские? — спросят его.

— Панские! — скажет и залется смехом Милороденко, передавая анекдоты о хуторских невзгодах.

Но Левенчук шел печально и мало принимал участия в веселых проказах и рассказах товарища.

В одном месте Милороденко, угощенный кем-то на перепутье, говорил товарищу, сильно вздыхая:

— Как будем мы идти близко к морю, там речка Мертвые Воды есть. Так-то! Впервые, как я убежал, жил я в косарской артели; шли мы с заработков от одного барина и наткнулись на злое дело. В другой артели не то косарь, не то черт его знает кто, зарезал нашего же, должно быть, беглого брата, старика лакея, а лакей этот шел к морю с дочкой, маленькою девочкой. Убивца, чтоб ему пусто стало, старику перехватил глотку сонному, деньги отнял и убежал. Были, говорят, у него деньги небольшие, дрянь. Так девочка привела отца, еще полуживого, на Мертвые Воды: тот стонал с перерезанным горлом, упал на пороге там какой-то хатки и, говорят, умер, а на месте не мог назвать, значит, убивцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчас сбежались, жалели; ходили смотреть и на девочку, и на умирающего, а у него были такие бакенбарды белые, так и торчали с телеги, как его повезли в город; сам худой да лысый. Страшный такой! Девочка не могла рассказать, откуда они убежали, и ее взял кто-то в приемыши.

В другом месте Милороденко беседовал:

— Да ты мне скажи, Харько: и вправду ты думал утопиться, как я тебя увидел на плотине и сманил? — Это было уже на последнем привале, ночью, в кустах дикого терновника, где они расположились понежиться уже повольнее и даже сами решились развести огонек.

Левенчук ничего не отвечал. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись.

— Вылез я из камыша, — продолжал, хохоча, веселый вожак, — вылез, смотрю — человек сидит над водоспуском, плачет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом... Ждал я, что будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?

— Что ж, дядько, — начал Левенчук, — скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» — «Воля ваша, говорю, пани». — «Да ты не знаешь, на ком?» — «Не знаю». — «На Варьке, на дочке Петриковны! хочешь?» — «Воля ваша! — говорю, — а у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд, осенью, перед филипповками. Не знали мы и ни разу до свадьбы с Варькой, не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой навевывался. Повенчали нас, посадили за стол, а потом спать положили...

Харько помолчал.

— Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассматривал я ее, правда, уж через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка: «Дядько Харько! —

кричит, — тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал их в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит у потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! — говорит шепотом, — это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша пани в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» — «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дернули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! барыня идет! мы стоим, ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась... Машина пошла... Ох, дядько! И вспомнить страшно... Застонала она, что-то захрустело... Прибежала опять ко мне в степь та же соседская дочка. Орет-голосит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, говорю, где?» — «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется... Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную,

в куски! Ох, дядюшка, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал... Отлили водою меня... Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своею дорогою, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист хабрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жару, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу... Сядешь; кругом ни души, — одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука... руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется; да и что сработаешь, ходючи без усталости? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер! хата! — так и манят. Придешь, и все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом — и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько... боюсь! Не допытывай меня... Ну, что же?.. так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я... Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело: и спасибо тебе, Василь Иванович, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе... Без руки лежит, вся потрошенная, покровавленная на панской молотилке... А собаке — собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо меня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозила отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.

— Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях или в какую косарскую артель, — добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал...

— Как же ты, дядюшка, бегал? — спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолвившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.

— А вот как я убежал впервбе, — начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом, — моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее, — в лакеях, значит, обретался и по-господски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как, выходит, крупчатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила... Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

— Что ты? Ах, братец ты мой! — даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.

— Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! — продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко, — это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты... Просто, ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видалися; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, сослать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из амбара. Выли, выли старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными господами и чиновниками и решили нас, братец, попросту, тоже повенчать. Да! чего ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин

и заартачился. «Не дам, говорит, она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу весело, а сносно. По богомольям ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любобью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоти, что я и призадумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гу-гу; в сених только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз завалишься в кабачок и закутишь с мещанами и с мужичьем; деньги были. Я вакштаф курил, говорю тебе, в карты в прифيرانец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. «Ты, говорит, Матрону нашу прежде любил, с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся!» Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бивать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее, да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить, — отпорол единожды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует... А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотки: там в модницах жила, и мы в бегах знались. Взманула меня опять волюшка. «Эх, — подумал я, — бес вас заברי, похувики да супы, да лежанье одно, да панские рассказы!» Стал я больно суров... У! натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.

— Что же, дядько, а она где теперь стала?

— Умерла, скажут, братец, в скорости, без меня! Ведь это давно было. Я холост уж вот четвертый год.

Возвращался к барину. Да уж в другой раз не поладили. Сильно я ему грубил и досаждал. Барин повестки обо мне разослал, как я бежал. Ловили меня, приводили снова раз к нему; жены я не застал уж тогда. Соседи советовали ему: «Дай вольную Ваське!» Не дал! Ну, а я уж, душечка, подумай, покурил вакштафу, — домой-то, значит, к пану своему больше и не хотелось. Ну, с той поры по сей день, четвертый год, и состою в бегах. Детей, видишь ли, не произвел, не осталось. Родня женина срамится, должно быть, и вспомнить меня. Хоть и мне страшно вспомнить это их всех. Скверные, братец, люди! Да я-то теперь уж разбогатеть хочу, показать себя им всем, что я за человек! Что ж, что я холоп, так и не венчать? Пан вольной не дал, ну, и стеснил тем нас. А будто трудно было подмахнуть бумагу? Ну, я же им это покажу, и без них обойдемся! Разбогатею вот как! Сторона это такая, что только трудись, — золото лопатами тут все загребают...

Оба товарища на этом заснули. Ночью Левенчуку все казалось, будто что-то шелестело в степи, точно конь близко где-то силился оторваться от привязи, оторвался и, фыркая, все бегал впотьмах. Раз он открыл глаза. Над ним висело темное-темное, усыпанное звездами небо. Голос какой-то птицы уныло охал вдали. Кузнечики трещали. А в мыслях его было смутно. Глаза горели, в висках стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали бедное, напуганное сердце.

Разбудили их песни жаворонков и все крылатое население степи, сверкавшей под каплями крупной утренней росы. Голубые туманы переливались вдали. Слева шли волнистые зеленые косогоры. Справа синело не то море, не то та же бесконечная, будто в гору идущая степь. Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими картинами, а чем-то иным...

— Видишь эти пустыри? — допытывал Милороденко, — много я тут помыкался! В Москве теперь я пожил два года, а сколько уже здесь перемены. Вон, видишь, уж хуторок лепится над балкою, садик разводят, пруд мигом

вырыли, мельницу-ветряк ставят, панские горницы строят. А два года назад тут одна степь была. Теперь и дорогу туда протоптали. Так и при запорожцах тут заимки занимали. Вся наша и земля тут старозаимочными хуторами стала. Наши предки с тобою тоже сюда пришли и закрепились. Ну, а мы с тобою уж теперь вольные...

Миновав еще два-три пустынных аула, пешеходы вошли в область разнообразных новороссийских колоний и под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае шинка Лысой Ганны, которого так боялся Милороденко. В шинке и кругом шинка, близ байрака, сновали какие-то люди. Фургоны стояли, волю паслись, верблюды шагали к водопою. Мелькали татары в бараньих шапках. Двери в шинок были распахнуты настежь. Волянка и две скрипки бренчали у крыльца. Музыканты были слепые нищие. Старший из них затягивал под музыку песню: «Ой, фортуно, фортунонько! де до тебе стежка?» Милороденко ввел Левенчука в шинок, ткнул пальцем на бородатого жидашинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!» — узнал двух-трех соседних знакомых и заметался.

— Всечестнейшая и преблагородная компания! — сказал он, — целуйте меня, я Александр Дамский и опять между вами. Лейба, шельма, водки!

— А! это ты, Дамский? — отозвались его приятели из посетителей Лейбы, все народ мрачный и бедовый. — Где был? откуда пожаловал?

— Из Киева, антихристы, из Киева; а был и в Москве, милочки. Дважды нажился в это время и дважды продулся! Да меж вами доносчиков нет?.. Тронь меня, я и ножом теперь пырну — не замай! жить хочется, жить давайте мне — я теперь вольный человек! Пришел это мимоходом к барину к своему на хутор, говорю: «Полно биться, будем мириться». А он, как положил, и всыпал мне двести. Я опять тягу.

Чего только не делал тут Милороденко. Помня зарок приятеля, Харько сперва было воспротивился просьбам его дать денег. Но уже Александр Дамский хлебнул горь-

кухи и преобразился. Про розги и свидание с баринном он врал для шегольства. Из веселого и кроткого человека — это стал зверь: ноздри раздулись, лицо побледнело. Он свистал, прыгал, давал приятелям пинки, кричал: «Воля, воля! Я ведь вольный!»

— Ах ты хохол-свинопас! — крикнул он на всю хату Левенчуку. — Слышите, добрые люди, денег не дает! — И ни слова дальше не говоря, попотчевал сопутника страшною затрешиной, дал пинка в спину, а потом в живот... Со сверкающими глазами, со скрежетом зубов и растрепанный, отнял он под вечер у перепуганного и избитого Харько все свои деньги и пустил пир во все заставки.

Левенчук ждал два дня, наконец выпросил у шинкаря кусок хлеба и пошел куда глаза глядят. Событие с ним никого не удивило. Его насмешливо обходили как новичка.

Приставши безмолвно к первой партии косарей, он обрадовался, что его ни о чем не спрашивали и ему ничего не говорили, и прокосил у какого-то колониста более недели. Потом его направили по соседству, к помещику, полковнику Панчуковскому.

Левенчук пошел указанною дорогой, скоро нашел на Мертвых Водах Панчуковского, увидел среди степи его новый красный кирпичный дом, кругом которого возводили высокую каменную ограду, а в стороне кирпичную с фронтонами и под железною крышею огромную овчарню. Вся усадьба, как видно, только что обзаводилась и напоминала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чем украинский заднепровский хутор. Левенчук пришел прямо к панскому крыльцу, где уже ждали другие. Вышел господин молоденький, с белокурыми усиками, франтовато одетый.

— Здравствуйте, ребята! — сказал он бойко, по-военному. — Много вас пришло?

— Шестьдесят, ваше высокоблагородие.

— И все больше нашего поля люди? — спросил и весело подмигнул полковник.

— Точно так.

Полковник, уверявший всех, что тот не хозяин, кто не вырос под крепкою командой и сам не выучился повелевать, умел-таки владеть приходящими к нему.

— Ну, милые люди, будьте же гостями! Завтра сенокос за речкой; у кого пачпорта нет, тому цена полтина ассигнациями в день; у кого есть — полтина серебром. Ступайте в контору, выпейте по чарке водки и пока марш на ток молотить!..

— Рады стараться! — гаркнули пришедшие и пошли в контору, хваля ласковость и бойкость умелого господина.

Левенчук в конторе записался на месяц. Взволнованный и все еще в тумане от небывалой новой жизни, он очутился с хозяйским цепом в руках на току, стал постукивать по снопам, глянул в сторону и обомлел... Милороденко! Он глазам своим не верил. В какой-то дырявой нищенской свитке, с бледным испитым лицом и потускнелыми глазами, брошенный в шинке Лысой Ганны неделю назад, его вожак и товарищ был уже тут и также тыкал цепом в снопы, в двух шагах от него. Улучив минуту, Харько поровнялся с ним и шепнул, подсмеиваясь и вместе пугливо посматривая на него:

— А что, дяденька, и вы тут?

— Тут, — отвечал тот со вздохом и, тихо повернувши тусклые и испитые глаза за клюну, кивнул туда головой. Оттуда неслись хлопанья кнута и крики. Кого-то секли, а полковник, громко считая удары, приговаривал в антрактах наставления, то сердясь, то весело причитывая прибаутки.

— Кого это, дядюшка? — спросил пугливо Левенчук.

— Товарища там нашего одного; я угомонился, видишь ли, а тот и сегодня пьян напился, и барину здешнему нагрубил на работе, да и с приказчиком тут не поладил...

— Так и здесь, дядюшка, секут? Тут же мы на воле?

— Ох, и тут! порядки эти и здесь заводятся, видишь! Давно я тут не был; ну, без меня оно так и стало. Да ты на то не смотри: полковник добрый человек; отчего же и не посечь дурака, нашего брата? хуже, как в стан¹ явит, а ты беглый!

¹ Полицейский участок.